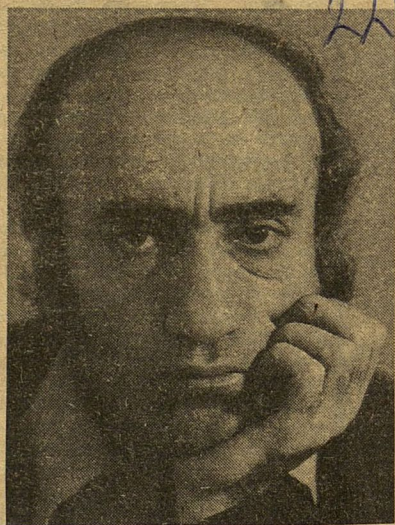


Литературные
портреты

ОБЛОМКИ РАЯ



«На самые болезненные вопросы мира можно ответить, не покидая Цмакута».

Грант Матевосян.

НОВАЯ книга Гранта Матевосяна* подтверждает обе части этой самохарактеристики. И верность Цмакуту. И важность вопросов, здесь обсуждаемых и переживаемых. Матевосян верен себе. Но он проделал существенную эволюцию за годы работы — это тоже видно при сопоставлении вошедших в новую книгу ранних и поздних повестей. И воспринимается его проза теперь не совсем в том контексте, как двадцать лет назад, когда он впервые «спустился с гор» в молодую литературу. Молодой цмакутский летописец 60-х годов, остро сопоставляющий реалии столичной жизни с воспоминаниями о деревенском детстве, воспринимался в сопоставлении с другими писателями того времени, в иных национальных вариантах рассказывавшими нечто близкое: с Беловым, с Шукшиным, с Друцэ... Матевосян 70-х годов, утративший вкус к внешним сопоставлениям, словно бы углубившись в темную глубину открытой им крестьянской души, «локальной», «замкнутой» и «неизменной» — воспринимается несколько по-иному. Его письмо потяжелело и сконцентрировалось; при чтении возникает уже не ощущение горизонта (сверкающие зубцы гор, блеск солнца, вечность неба, дающего «сиюминутной» жизни вселенский, библейский масштаб), — но ощущение потаенной глубины, необычайной сгущенности письма, колоссального «внутреннего давления» в тексте. Житейская фактура наливается огромной тяжестью; детали словно «логарифмируются» смысл, они насыщаются неуловимой символикой, хотя и остаются при этом осязаемыми элементами реальности. Эта тяжелая плотность письма заставляет читателей 70-х годов искать Матевосюну совершенно другие параллели, чем раньше: его теперь нередко сопоставляют с писателями латиноамериканской школы; в полушутку его даже называют «армянским Фолкнером»; в этой полушутке есть доля серьезности.

Концентрация внутреннего веса матевосяновской прозы отразилась и на его литературной репутации: из «молодого армянского писателя» он постепенно превратился в творца «горной Иокнапатофы» (по выражению И. Дедкова), «саги о Цмакуте» (по выражению Л. Теракопьяна), в одного из хранителей «бытийного смысла», в одного из ведунов некоей изначальной жизненной тайны, — кто знает, каким магическим образом добирается до миллионов читательских душ эта репутация и откуда она получает такую окраску, — но она реальна; широко разошедшиеся издания и переводы, внутрисоюзные и зарубежные, доставили Матевосяну в 70-е годы всеобщее признание, но в этом смысле они мало что объясня-

ют, — тут действует сам дух творчества.

Сегодняшний Матевосян — это ощущение бесконечной, втягивающей, уходящей в прошлое «воронки бытия». Воссоздан этот объемный мир на удивительно малой литературной площадке. Две три недлинные повести да пара-другая рассказов — вот и все за последние десять лет. «Жила земля», через два года — «Твой род» и «Чужак», рассказы, похожие на ответвления от повести: монолог старой Агун, оженившей сына; монолог сына, вспомнившего школу военной поры... Повто-

ряются интонации, повторяются мотивы... Заснеженная дорога в горах, волчий вой, мальчик, идущий в школу. Верная собака, бросающаяся на волков, ее гаснущий визг в зимней мгле... Теплая мгла хлева, теплый бок коровы тут, внутри, — и ледяная, обжигающая, опасная, непредсказуемая, бесконечная, манящая жизнь там, за стенами... Усталая мать, усталый отец, вечная перебранка между ними. Упрямый, неуступчивый подросток: не буду с вами жить! — горькая усмешка стариков: нет, ты не создан для гор, мальчик... Ты слаб, не выдержишь, ты жалкий, ты слабый, ты добрый, в тебе нет злости... Эти мотивы — сквозные, из повести в повесть.

Матевосян 70-х годов значительно более локален, собран вокруг своего жизненного материала и сконцентрирован на внутреннем его преобразении, нежели Матевосян 60-х, которого тянуло к далеким и контрастным сопоставлениям и к дерзким контактам с далекими противниками. Нынешний Матевосян такой задачи себе не ставит. Он не панорамирует действительность, не обводит взглядом горизонт и не проследит развитие событий, — он кругами ходит по одному и тому же месту, все глубже и глубже втягиваясь в «тайну», сокрытую в том или ином эпизоде, он снова и снова переживает его. Это какое-то завороченное кружение мысли вокруг тайны. Отсюда властный глубинный ритм, в котором без видимой стройности несутся, всплывая и вновь исчезая, подробности жизни. Это изначальная магма даже не слова, а тона, из которого рождается подобие слов. Это испытание последних сил человека.

Нравственная альтернатива, которой Грант Матевосян испытывает читателя: сила или слабость? Ненависть или любовь? Изначальное естество, сотворившее человека вместе с прочими живыми тварями, требует от него силы и крепости. Это не тот, ранний пантеизм, который был свойствен автору «Буйволицы», — жестокость проступила теперь из-под естественной красоты. Око за око. Настоящий «древний эпос». Если в этом мире столько грубой работы, для которой нужна грубая сила, если в этом мире столько зла, не поддающегося уговорам, — то любовь и сострадание воспринимаются либо как насмешка, либо как хитрость. Таков лейтмотив всех монологов двуязычной крестьянки, той самой Агун, которая едет женить сына и считает его размазней и неженкой, деда же его Ишхана — настоящим мужчиной.

Апология мужской ярости, разнервнутая в рассказе «Твой род», есть не умственное отдавание дани «героическому началу» — чувство сильного человека глубоко пережито здесь. Пережито крестьянкой Агун, которая вспоминает о своем отце Ишхане, крутом и жестоком человеке. Пережито ее сыном, который передает нам рассказ матери, прекрасно понимая гибельность, убийственную жестокость «ишханова начала», — а все-таки восхищается этой крутостью, этой живучей хитрой силой, этой жилистой прочностью, этой крепостью земно-

го человека, не жалеющего ни себя, ни других. Никогда Матевосян не удержал бы столь напряженного повествования на протяжении стольких страниц, если бы и сам он не был проникнут ощущением земной силы, у которой есть свои права. И если бы — другая сторона истины! — если бы в кротости и незлобии тихих созерцателей («аветиково начало») он не видел — при всем их благородстве — явного бессилия.

По темпераменту Матевосян — боец; слабый человек увиден им без жалости, а сильный знает у него о своей силе. И это начало согласуется у Гранта Матевосяна с тем ощущением эпической толщи, которая за тысячелетия спрессовалась под ногами — я стою на том месте, где проходил Тамерлан! — маленькому Цмакуту отзывается легендарная Троя: языческое, полное природной силы и природной жестокости, древнее чувство жизни. Начиналось — с широкого ликующего пантеизма. А сузилось — до острой, прожигающей правды, которую видит Агун: «Совесть в животном хороша, а в человеке, который к тому же тряпка, жалость и совесть — это одни соп-ли».

Так. Но ведь в это самое время Матевосян пишет «Чужака». В центре рассказа — тихоня и неудачник. Кроткий агнец, хилый доходяга, который всем уступает. Бедняк, которому мать сшила из обрезков плакатного кумача рубашку, похожую на девчоночье платье. Добить его! «Естественный» импульс... И тот же самый рассказчик, который до дна души проникнут «ишхановым началом», — вдруг чувствует, как неожиданно и непонятно в нем подымается странное, расслабляющее, почти гибельное, но неоценимое чувство: жалость. Объяснить его себе рассказчик не может. Он ощущает сострадание как императив, идущий из таких же глубоких основ его личности, что и ощущение силы.

Так где же Матевосян? Там, где прямо на дуло ружья, не пригибаясь, идет Ишхан, и ружье прыгает в руках робкого противника? Или там, где кроткий Амазасп, агнец, чужак, доходяга, вытискивается на дороге, хватая ртом воздух, и какой-то внутренний запрет мешает плюнуть на него, оставить на дороге?

И там, и тут?.. В известном смысле — да. Но без всякого благодушия. Матевосян отнюдь не «везде», не в «каждой травинке». Он — на грани, на изломе, на болевой точке. Понимая все, вмещающая все, — он отлично знает, что его главному герою. Это — чужак. Мальчик в женском платье. Белая ворона. Алхо, добываемый оранжевым жеребцом. Куст, оторвавшийся от леса. «Горы не для меня, но и город не для меня». Матевосян — не певец веселых пастухов, живущих под ясным небом. Матевосян — писатель крестьянской усталости. Его герой — не богатырь, донесший до наших дней доблести былых времен. Его герой — старик, косящий траву слабыми, обессиленными руками. Двуязыльная, иссохшая от работы мать семейства, которая топчет горькие воспоминания в потоке воинственных слов.

О, как все было бы просто, если бы Грант Матевосян и впрямь описывал прекрасную жизнь земли и вековую красоту крестьянской традиции. Но он пишет разбитую душу крестьянина. Не городом разбитую, нет. Изнутри, из сращивной разбитую, из базовой жестокости, которую не отделишь от силы и доблести. Раскалывается вековой Цмакут от внутренней драмы развития. Город — подбирает осколки...

В 60-е годы Матевосян еще мог казаться (и нам, критикам, и себе самому) писателем маленькой горной деревни; тогда Цмакут виделся ему не моделью мира, а его уголком — «раем первобытности», — тогда-то Матевосян и был собратом Василия Белова и других

«деревенщиков», лечивших «этот мир» стариной. В 70-е годы подобные аналогии, как я уже сказал, не работают. Почему?

Суть в том, что русские «деревенщики»: и Шукшин, и Белов, и Васильев, и Лихоносов, и Личутин, и Абрамов — исходя из той кардинальной идеи, что обаяние деревенского мира и старины должно помочь современной действительности. Скомпенсировать ее, выправить, «научить». По существу все они — писатели современного мира и современного сознания, исходящие из нужд и логики современного мира, как бы трезво и строго они к нему ни относились.

Матевосян же — уникальный случай, когда в современный мир ввергнуто сознание «изначально» эпическое. Со всей его наивностью, со всем упрямством, со всем «гениальным младенчеством» в ощущении базовых ценностей. Оборачивая характеристику, данную Матевосяном одному из близких ему армянских писателей (вообще эти характеристики — клад для психолога, они все строятся из материала собственной души!), он — «свидетель былых веков в сегодняшнем мире». Он — «заблудившийся в новом времени посланец древнего армянского села». Легко понять, почему такое явление оказалось возможным именно на армянской почве и вряд ли мыслимо сегодня на почве русской. Масштабы, масштабы! «Древнерусское село» в современном русском сознании возникает уже как далекая цитата из истории, из этнографии, из мифологии, из литературы. Далеки русские края, далеки и корни; у Шукшина нить обрывается где-то за эпохой Разина, дальше — синь веков, дальше — книжная мудрость «Слова», которое надо переводить на современный русский язык. Велик путь, широка земля, привычны разрывы и бездны — русская «модель мира» не вписалась в Тимонику, и потому проза, туда пошедшая, реализовалась как деревенская.

Матевосяна смешно называть сегодня «деревенским» писателем. Именно потому, что Цмакут для него — уже не уголок «патриархального рая» — в этом качестве он не состоялся, раскололся, рассыпался. Цмакут — другое, это ашхар, модель мира, микрокосм, универсальная вселенная.

И это оказалось возможно — в литературе Армении. На почве, где вековые корни, можно сказать, ветвятся попеременно с современными ростками, стиснутые с ними вековое давлением чрезвычайной сконцентрированной культурной памяти. Нужна именно память армянской культуры, склонной, по словам самого Матевосяна, не к «пиршеству красок» и не к подхватыванию «мировых новаций», а к аскезе формы и к созерцанию духовного единства прошлой и нынешней реальности. Нужен именно этот пятачок древней земли, откуда остатки Ноева ковчега, можно сказать, видны невооруженным, но имеющим воображение глазом на заснеженной вершине Арарата, и Торгоп, отец Гайка, дед Арменака, можно сказать, сам плыл в этом ковчеге с праотцом Ноем, и таинственные события библейской истории, можно сказать, происходили «здесь и только что», и великий Месроп Маштоц понятен без перевода, и от Еревана до Гарни — рукой подать...

Присутствие седой Истории, ощущаемое почти на ощупь, и есть то неуловимое качество, которое — при всей невообразимой далекости красок и реалий — делает Матевосяна уникальным писателем в нашей литературе; он видит и событие, и то, что сделало событие неизбежным, и то, что породило самое неизбежное.

Имея такое зрение, — «на большие вопросы мира можно отвечать, не покидая Цмакута».

Лев АННИНСКИЙ.

г. Москва.

* Грант Матевосян. Избранное. Предисловие Л. Теракопьяна. Изд-во «Художественная литература», М., 1980.